

Василий Киляков

ИЗ РОДА В РОД

Рассказ

...На широком дворе лежали дубовые дрова, заготовленные ещё осенью. Дед долго выбирал, пристальным взглядом высматривал самую удачную лесину, затесал и прошёлся рубанком. И до позднего вечера мы ладили крест бабке Акулине, а надписи сделали на другой день утром. Уложили крест на большие санки для дров, взяли пешень, топор. Запирая ворота, дед проговорил:

– Ну, малый, с Богом! Может, за день-то и выроем могилку Акулине.

Наученный опытом, я надел лапти, накрутил онучи выше колен, как надоумил меня дед Кузьма. Оба в лаптях, мы шли к кладбищу напрямки, улицей, огородами, запущенными садами. Кладбище занесло снегом так, что пришлось пробиваться с лопатой. Только теперь я заметил чьи-то следы справа, увидел повисший дымок недалеко среди обступивших кладбище осин. Кузьма Лукич направил стопы к тому месту, откуда струился дымок. Елизавета уже очистила площадку для могилы и давно, с темноты, принялась отогревать землю костром, сухостоем да валежником, лапником, что собирала тут же.

– Еле отыскала, место, – сообщила она с некоторой гордостью, даже героизмом. – Покойница просила рядом с матерью, Фёклой, похоронить. Отогрелась земляца, а то – чугун была.

Лизавета, прокопчённая насквозь, умывалась снегом. Чистили снег и разгребали ещё горевшие, сопротивлявшиеся поленья – в чёрную кашу, грязь с золой. Начали долбить пешней, Кузьма Лукич вспомнил давно умершую Фёклу:

– Эх и суровая была старуха. Долгушей звали. По-уличному. Шаг до-олгий... Ходила, будто овдовевшая царица или княгиня какая... Ох и не ндравился я ей, от Акулины отгоняла меня с бранью. Ну да дело прошлое, что вспоминать.

Едва сняли золу да холодную грязь, и земля загудела под пешней и ломом, будто под ногами лежала бетонная плита. С самого начала стало ясно, что за день нам не управиться. Так и случилось. В сумерках к подстанции, к торчащим над ней изоляторам, к площадке высотой в метр от земли, стоящей за оградой кладбища невдалеке, подкатил на лыжах электромонтёр. Дед Кузьма сразу узнал его, крикнул:

– Здорово, соколик! Когда нам свет сделаешь?

– Где-то замкнуло, – угрюмо отвечивал электрик и полез открывать шкафы, но, убедившись, что причина на линии, в полях, подошёл к нам. Я сказал ему, что схлёстка проводов – в Выселках. Электромонтёр поправил провода, вновь приехал, заменил предохранитель в щитке подстанции, сменил сгоревшую лампу в фонаре. Яркий свет разлился по кладбищу, и в редяющих сумерках зловеще выросли тени деревьев, крестов и памятников.

– Дайте-ка я подолблю, погреюсь, – попросил электромонтёр.

Дед Кузьма дал ему пешню, и молодой парень с обезьяньей ловкостью начал долбить. Дед Кузьма журил электрика:

– Две ночи с керосиновыми лампами сидели, а тебя и днём с огнём не сыщешь.

– В Архипове загорали, – не переставая долбить землю, говорил электромонтёр. – Скотный двор загорелся от проводки. Два дня там и торчали. Собачья работа. Выпить некогда.

– Ой, на-ка, на-ка, у меня есть, – и дед Кузьма начал угощать своего знакомого.

– Считаю, и дома не бываю, мотаюсь по всей округе, как кобель, – глотая водку из горла и задыхаясь, жаловался электромонтёр. – В деревне-то что! Вот в поле закоротит – поди попробуй найти. Нескоро сыщешь.

– Эх, бедолага! – суя в руку электромонтёру хлеб и сало, жалел его дед. – Зажуй-ка, на вот, зажуй, закуси хоть чуть. До дома-то далеко.

– А водка-то того, настоящая, – с приятцей удивился электрик. – А то всё спирт электролизный, горький – полынь. А чего, болела, старушка-то?

– Болела, соколик.

Фонарь светил хоть ярко, да низко. Тени мешали долбить и копать землю. Тени, как живая распуганная нечисть, нетопырями, вспархивали и взлетали – живо мешали, путались,

и голова шла кругом. Деревья качались от ветра. Заметив, что мы в лаптях, электрик захохотал.

– Как увижу деда Кузьму в лаптях, смех разбирает, – становясь на лыжи, кричал мне электрик. – Сам видел на нём новые валенки, а он, вишь ты, в лапотцах. Ай не холодно, ай валенки-то уже и сносил, дед? Концерт, да и только. Ну, пока.

Кузьма решил оставить всё до завтра, незаконченную могилку, «струмент», санки – всё это возле могилы он закидал снегом, чтобы никто не украл. Пустые санки потащили назад. И когда вышли в поле, чернота зимней ночи ослепила, оглушила тишиной. Ни следа, ни звука, никаких признаков жизни. Лишь в Выселках на столбе чётким перевернутым конусом света горела из-под чашки-отражателя лампочка.

...Хоронить Акулину везли на санках. Дед Кузьма делал для себя большие дровяные сани, на них он зимами возил хворост из леса, и эти санки, лет уж им было пять, служили теперь похоронными дрогами. Мы с дедом шли впереди, тащили за верёвку санки, а бабка Лиза шла сзади, хваталась за поясицу и останавливалась.

День удался хороший, солнечный, и мороз небольшой. На высоких сугробах гроб с Акулиной грозил падением, и мы часто поправляли домовину.

– Ну, слава Богу, привезли, – задвохаясь, проговорила бабка Лиза и тотчас начала говорить с Акулиной как с живой, а под конец и плакать с причтом:

– Ой, Акулина, Акулина, отмучилась, убралась. На кого ж ты нас оставила. А я одна, горемычная, остаюсь на всю-то деревню.

Пронзительный, как сверло, голос бабки Лизы нестерпимо резал и мозги, и сердце. В этих причитаниях на старинный лад слышалась какая-то жгучая безнадёжная правда, жалость к себе, ко всем живущим, и жалоба на нищее и одинокое существование. Какой-то эпический трагизм судеб людей среди сугробов, нищета и тщета жизни.

Начали прощаться с Акулиной, и бабка Лиза уже завывала – не остановить. Дед начал бормотать:

– Ну, будя, будя, болезная. Прости, Господи, люди Твоя. И благослови достояние Твое. Не по грехам нашим, а по милости Твоей. Прости и ты, Акулинушка. Если б не матушка твоя тогда, укатили бы в город из этих Выселок, пропади они пропадом, по-другому бы всё и вышло. Прости-прощай.

И тут любопытная бабка Лиза вдруг смолкла, дёрнула по глазам рукавом плюшевого полупальто и посмотрела на Кузьму своими ясными серыми глазами. Дед пощипал-пощипал бородку, поправил подушку под головой покойницы, смахнул завиток стружки с её груди. Вытащив из кармана гвозди, зажав лишние во рту, начал деловито и умело заколачивать гроб, с удивительной ловкостью. А заколотив, поискал глазами сумку, висевшую на сучке рядом, вытащил водку, глотнул и поставил себе в боковой карман, чтобы грелась до поры. И когда подровняли бугорок могилы, бабка Лиза повесила на крест собственноручно сделанный венок из бумажных цветов.

Мы двинулись в обратный путь мимо полузанесённых памятников, крестов – этого селения мертвецов. Сколько тут известных и неизвестных трагедий хранится под снегом и мёрзлой землей! Вот пожелтевший медальон юноши – застрелился в лесу из охотничьего ружья. Двое мальчишек лет десяти играли в охотников и зайцев. Один из них снял со стены ружье старшего брата и убил наповал второго «зайца». Женщина, уже не молодая, облила себя бензином и подожгла. Смерть наступила в муках, потом пожар, тут же, в предбаннике... На свадьбе гуляли, пили самогон, – сгорел от сивухи запойный молодой тракторист, так и не отпоили молоком. Старуха турила самогон да меняла его на дрова и зерно у заезжих механиков. Бабка хозяйственная, характерная, крепкая, как объясняла бабка Лиза, но сама «вружилась» и в запое умерла от сердца, неделю пролежала на своей печке, пока хватились её. Тракторист лет двадцати ехал пьяный на тракторе и не мог миновать оврага, «перекувырнулся» вместе с трактором, придавило колёсами. Бабка Лиза останавливалась возле могилок, смахивала снег с крестов и памятников, подкладывала корочки хлеба птицам, щепотки пшена – для того и припасённые, чтобы помянуть, да крошила блинцы на пшённой кашке. Рассказывала, кто и какой смертью умер.

– Акулина счастливая, – заключила она, и в словах её, тоне, самой интонации голоса я не услышал, к удивлению моему, никакого лукавства. Мало того, почудилась зависть к такой смерти. – Она счастливая: своей смертью умерла и на своей печке. Мне бы так-то. И похоронили честь честью, и помянули. Даже есть, вот, и помянуть, и на девятины тоже есть чем. А нынче – студень я наварила, кисель овсяный с сытой, то бишь со сладкой водой на меду.

– Похороним и тебя, не горюй больно-то, знать, не твоя была очередь. Только уж гроба такого я тебе обещать не могу, – начал пошучивать дед. – Да и себе тоже. Но если ты вперёд помрёшь, и ты будешь такая же счастливая, как Акулина. А вот уж если я помру последним, нескоро придумаешь похоронщика.

– Да рази я одна-то, – проговорила бабка Лиза, – но лучше об этом не говорить, авось Бог милостив.

Поминали в Акулининой избёнке. Избу подмели, образили. Ввернули большую лампочку, в лампадки долили масла. За окнами было уже и вовсе невпрогляд, когда мы управились с делами, разложили варежки в печурки да развесили одежды. Бабка Лиза собрала на стол:

– Да ить святки! Святые дни. Ой, нет, нет, милостив Бог к Акулине. И похоронили, это... С родителями. С одной стороны рябинка, с другой – черёмуха. Подальше от дороги – как хорошо лежит-то...

– ...И чего ж ты? Завтра едешь в Москву? Твёрдо решил? – спросил меня дед Кузьма.

Я твёрдо решил не испытывать больше судьбу, ехать.

– Отпуск мой кончился. Был нужен здесь, вот и оставался, – отвечал я.

Мне было неприятно это напоминание о том, что предстояло как ни крути – ретироваться, хотелось уйти и от разговора и от объяснений. Я спросил набожную бабку Лизу:

– Почему на Рождество к столу подают гуся и свинину в первую очередь?

– А поделом им. Когда Господь родился в вертепе, как бы во дворе, так по вере – они спать не давали, гуси гоготали, свиньи хрюкали. Ни Господу, ни Приснодеве Марии не давали уснуть.

Я поймал на себе угрюмый взгляд деда Кузьмы:

– Тяжело до тракта добраться по бездорожью.

Помолчали. Старики стали мне за это короткое время точно родными.

– Тяжело, так что помни моё: лапти! В лаптях до большака, как мы и шли, милое дело. А там можешь и похерить, выбросить их. Наденешь свои городские ботинки, и всё.

Выпили по первой, после второй я уже услышал от бабки Лизы:

– Нет-нет, мне по Марьин поясок, чтоб жизнь полнее была.

– Вот дикий народ, да ай от этого зависит? Счастье-то? Ну ладно, с Богом, земля пухом и Царствие Небесное, как говорится, из роду в род, – не жадничал Кузьма.

Разговор завели про Акулину, про её похороны и какие мы всё-таки молодцы. Бабка Лиза раскраснелась, бегала в кухню за закуской, подавала хлеб.

– Акулина молодая – весёлая была, не велела плакать.

– Да ты её молодой-то ай помнишь? – не унимался и дед Кузьма.

– А как же не помню-то, ты что, Господь с тобою. Я не какая-нибудь бестолковая да беспамятная, я бядовая. Я в трактористках была! – Запела: – Трактористкой я была и под трактором спала.

– Титьки пахли керосином и соляркою ссала, – закончил ча-
штушку Кузьма.

Бабка Лиза не обиделась, засмеялась разливисто и громко, и начала уже в который раз рассказывать всё об одном, всё о том же, как работала на колёсных тракторах, тех, что ХТЗ об-
зывались.

Я слушал и не находил утешения, гнал думы о Москве, о её театрах, казино и ломбардах. О Тверской, где с удалью проносятся на автомобилях лихачи, везущие новоявленных господ в ново-
явленный «Яр», в недавнем прошлом – ресторан «Советский».

...Утром следующего дня я поднялся поздно. Стояло будто бы всё то же утро, надоевшее, со снегом. Серой дымкой заво-
локло окрест. Снег не падал, а как бы только грозил падени-
ем. С тяжёлой головой, собрав свои нехитрые пожитки, я стал
раздумывать, чего бы и впрямь обути мне и как по бездорожью
пробиться до большака. Не надевать же и впрямь лапоточки
в век компьютеров и жидкокристаллических плазменных теле-
визоров. Да ещё машина или трактор попадётся по пути или на-
встречу. А там молодые. А если и девки – засмеют. Впрочем,
молодые вряд ли попадутся.

Повесив амбарный замок на двери, я скорым шагом заша-
гал Выселками с чувством невыразимой пустоты и грусти. Это,
верно, был последний мой приезд в родную деревню. Всё было
кончено.

Бабка Лиза и дед Кузьма провожали меня до снежных гумен,
до голых садов без оград, за которыми и ещё дальше широко
и вольно лежали снежные, тяжко-белые, барханы и дюны.
Сквозь – здесь и там торчала то чахлая берёзка, то ветла.

В полукилометре от Выселок, возле дубовой рощицы прощались:

– А я, мол, пальни-ка из ружья-то, посигналь на росстанях, – попросил дед Кузьма.

Я гордо вытянул из чехла «Сайгу» дарёную и дважды пальнул. Дед Кузьма обнял меня, а бабка Лиза прослезилась.

– Летом приезжай, – твердил мне дед. – Жив буду, все грибные места обойдём. Грибов много будет. Ну, летом что за охота, баловство. Разве утка, так это пса надо натасканного. А то в сентябре, когда зажирует птица, первого ледка глотнёт... А не то и лета не жди, а – в мае, так оно вернее. И не забудь, черкни письмецо-то, когда приедешь. Не забудь...

– Не за-бу-ду-у.

– О-го-го-о-о! – кричал он мне уже вослед, и эхо наискосок сносило в сторону что-то ещё, то, что казалось в ту минуту важным старику.

Я обернулся, помахал рукавицей и, еле сдерживая слёзы от какой-то доселе неясной мне тоски и жалости к ним, побрёл по колено, порой оступаясь по пояс.

Тепло простившись со стариками, я сделал себе ещё больнее. И прислушиваясь теперь к этой боли, шёл, стараясь ускорять шаг по заметённой дороге без следов. Так соскочил бы на берег бывалый матрос, оглядываясь душой на море.

То, что я оказался в Выселках, – случайность. Выбрался, отодрал себя от сумасшедшей Москвы, возмечтал устроить праздник душе...

Да и вся жизнь, если разобраться, – случайность. Редчайшая из случайностей. Вспомнилась бабка Акулина, высохшая, точно слюдяная, остроноса от мороза, куклой каменевшая в гробу. Вспомнилось, что и вьюшку-то в трубе дома я не закрыл, не поставил заслонку в трубу, забыл по давней привычке к городской жизни. Не возвращаться же теперь, плохая примета.

Уходить надо было мимо кладбища. Здесь от Выселок всегда была дорога в райцентр, «дорога жизни». За недели среди снегов, я привык волковато и сноровисто бродить по глубоким сугробам, но, пройдя через село и ещё дальше, вдруг почувствовал такую усталость, что снял шапку и опёрся на оградку, чтобы перевести дух.

Снежно-сумрачная зима расстилалась кругом. Сквозь вымахавшие на кладбище тополя, всосавшие прах моих родственников, похороненных здесь, сквозь древесные замшелые

и корявые стволы виднелись снежные могилы и кресты, часовенки без дверок с вывороченными из них святынями. Всё было неухожено, брошено. В молодость мою в каждой из них всегда аккуратно лежало по три медово-жёлтых свечи, в уютной деревянной часовенке под иконой. Даже и в атеистическую пору лежали, совсем недавно, а теперь разор, гибель полная. Не сходился, не срастался вывод о нынешней жизни с итогом, как не сходится в начальных классах сюжет задачи с готовым ответом в конце задачника, ну никак. Не хватало какого-то действия или усилия ума. «Молитвы мне не хватает!» – спохватился я и стал подниматься. И пошёл, пошёл. Стал вновь настырно пробиваться к дороге-большаку, как вдруг вспомнил, внутренне услышал вновь колокола.

Так и шёл. Прислушиваясь к бою колоколов, которые звучали, били, гудели в ветре и вьюге. Без шапки, прислушиваясь, продирался через сугробы. Ударял язык невидимого колокола, повисал и, очертив круг в пространстве, ударял, снова расходился, и шёл дальше, замирал вдали широкозвонный удар. И в ответ много и дружно, как на Светлое Христово Воскресение, разбегались быстрые и частые удары, радостно и минорно частили всполохи малинового звона. Удар и перезвон, перезвон. И опять удар, и перезвон, долгий и грозно-торжественный. И под этот перезвон, который вспомнила душа из запределья, из иной стороны жизни, грянул, как из храма на паперть в детстве моём, церковный хорал поющих Рождество Христово...

...Дед Кузьма – не профессиональный могильщик, но плотник, столяр, печник. Меня поразило его равнодушие при раскопке ямы под могилу именно потому, что под личиной равнодушия он скрывал, как оказалось, тайну. Тайну его отношения к покойной. Он не рассуждал, копая.

А колокол бил и бил. И всё выше выводил-выпевал хор на клиросе церковный. И я, кажется, слышал скрип помоста-площадки и скрип полозьев саней под гробом Акулины. А его, Кузьмы, кажущееся равнодушие к жизни... И этот холм земли над могилой, сиротливый, сырый среди выбели сугробов и берёз. Так, согревшись движением, без шапки я и шёл, огибал кладбище. И уже виднелся большак за четой двух сосен и за колком дубняка. Рассаженные здесь давным-давно дубы, с тех времён, когда ещё заседали широкие просторы озимыми. И надо было, возможно, дольше задержать на полях и снег,

и влагу. И урожаи эти, полные бункера с зерном в комбайнах на полях, я отлично помню.

С краю кладбища чернел крест над свежей могилой, над занесёнными порошей холмиками могилами, безымянными. Ветер сорвал и угнал венки со свежей насыпи-могилы, прибил его к забору, он пошевеливался от ветра и будто дышал, как живой. Я нашёл его и привязал-приладил к кресту. Крест стоял вытянувшись в облака, простирал перекладыни в небеса, крестопора словно всем видом своим противостоял этой жизненной сумятице, этой «мрети», которая сжигает и пополяет всё самое дорогое, человеческое. Символ-крест православный, он полон жизни в двух мирах, он сам по себе и жизнь, и система, и смысл, и философия... Выкинул руку, поглядел на часы. Все поезда уходили до обеда, а последний – глубокой ночью. В день приезда я переписал расписание поездов на вокзале. Надо было потопрапливаться.

Полы фельдъегерской шинели моей мотались, хлопали по коленям. Впереди простиралось широкое сплошное море снегов, до самого горизонта, сходилось с небом, и я шёл вперёд к этой выпуклой линии горизонта, как в чаше, в страшной, крошечной тишине.

Ломаный лозяк да быльник сухой полыни бились на ветру. Сухой чёрный репейник осыпался. Я оглянулся назад, надел прохваченную холодом и ветром мокрую от пота с шелкового испода шапку: мой след шёл от деревни мимо кладбища и дальше вниз. Сзади полукругом стоял Большой Лес полумесяцем, с заснеженными елями. Он обступал меня первобытно и незнакомо, словно я попал в кратер потухшего вулкана. Древняя, словно бы миллионы лет уже заснеженная планета, забытая, покинутая!

Стоило проступить мрачно-розовому солнцу, зарозовел и снег, словно застывшее море с кромками и хребтами – сугробами. И огромный тополь над Выселками с косыми сучьями, крестом. Древний тополь. Я вышел на угор, открылась занесённая балка реки. Стояла тишина, такая тишина, от которой давило в уши. Наверное, так же тихо бывает на мёртвых, никогда не оживавших звёздах в холодной Вселенной. И так же плывёт там розовое, немое и низкое, круглое шароподобие солнца, гаснет в тучах, ослепляет розовой яркой каймой, катится обручем красным.

Всё это неумолимо огромное пространство так надавило на душу, стало нестерпимо и безотчётно тоскливо... Жаль было

не только тех, кто остался в умирающих деревнях, но и вообще всех людей, живущих со мной по всей России в это, одно и то же со мной время, в этот день и час, даже и тех, которых я никогда не видел и не увижу.

Неприятна эта планета. Совсем не устроена она для жизни. И снег, и снег, и снег, и мороз. Тот мороз, что хуже пламени.

Небо становилось всё синей, всё равнодушной. Представилось, как стоит там, вверху, это холодное подобие солнца, тоже равнодушное к мелким делам мелких людей, к их жизням, к хаосу строек и войн, смертей и рождений на этой грешной земле. Солнце, с текущими под ним облаками, кажется, плывёт и плывёт, крутит ослепительно красной каймой-ободом. Оттуда сверху неразличима, верно, и моя деревенька Выселки. Неразличим и я в этом плывущем океане снегов, позёмки, вьющейся под ногами.

Сколько раз наблюдал я здесь этот поздний зимний рассвет и только сейчас увидел его таким сиротским, каким не видел даже в далёких красноярских, забайкальских и читинских краях, за Слюдянкой, в холмах Амазара. Почему же так жжёт этот рассвет зимой, оглушает таким бездушием Вселенной? Я впервые так остро, физически-зримо почувствовал мёртвый холод времени и безучастность к жизни везде, и на земле, и в космосе, какое-то трагически вселенское бездушие и временность всей, в том числе и своей жизни. Безучастие ко всему, что так внезапно рождается и так же случайно умирает. И это зовётся жизнью.

Жизнь. Как она похожа на мох или на пышную плесень. Неизвестно, зачем мы родились, и неизвестно, зачем мы умираем. И моя деревенька, жалкая и родимая, просто сжималась и меркла, и вот дождалась своего часа, чтобы быть погребённой под снегом или под совком бульдозера. И моя горница, та, что «с Богом не спорница», тоже похоронена будет, и это так же несомненно, как эта зима. И всё, что связано с дорогим мне детством, добрым и человеческим окружением, – всё это убьёт, уже убило бездушное время.

И тут я внутренне обомлел, остолбенел от догадки – врозь этому моему представлению: я вдруг отчётливо почувствовал, что всё существование наше должно быть явно поддерживаемо свыше, одержимо и направляемо. «Рождаться», не значит ли это «рождать себя»? И если столько раз жизнь человеческая выстаивала под всей этой громадой мрака и холода, откуда же взялась эта жизнь, откуда черпает она силы? И от всех ударов стихий, зла, невежества она только уверенней вжимается

в землю, пускает корни в неё. Все мы, порознь и все вместе взятые, выполняем и вынуждены выполнять какой-то долг, долг искупления, выдерживать испытания, искушения. Все, и кто большой, и кто малый. И тогда эти умирающие старики в деревне представились мне вдруг героически уходящими, сделавшими своё дело, исполнившими свой долг на этой земле, а это ничуть не меньше, чем геройство человека, идущего на смерть, в войну, в спасение, в верную гибель за другого. Каким эпическим спокойствием повеяло вдруг на меня, когда стоял я над распадком реки за кладбищем!

Я взгляделся в необъятное, необозримое до окоёма небо, и на одно мгновение словно стало оно зеркалом, отразившим всю Вселенную, всё необъятное бытие этого мира. И тогда вдруг почувствовал я, что ради вот таких мгновений и живём все мы, и ради таких вот ощущений сокровенных и откровенных по силе. Именно в них смысл жизни, всё остальное – мёртвая материя. И злость, и зависть, и вражда уничтожаются вместе с ней, с материей, но живёт нечто главное, не преходящее в веках, что исторгает из страждущего сердца слёзы, что заставляет целовать руки матери, любимой, отчего появляется желание исповеди кому-то за страдания и радости, за всё на этой земле.

Солнце погасло. Бескрайние барханы снегов, холодная мгла. И всё сметала, змеилась по моим следам метель. Я оглянулся. Стариков уже не было видно. И стоял тополь, как крест, как мрачный и непобедимый символ и смысл жизни над моей умершей деревней. И я тоже ставил крест, совсем недавно, над могилой.

Помню, как, поставив крест, ощутили мы какое-то внутреннее благовествование, душевное возвышенное движение, почти созерцательное настроение. Я как бы смотрел теперь на всё со стороны и сверху. И если нечто подобное испытывают люди, искренне верующие, в храме, то, честное слово, стоит верить!

Снега, снега. Куда ни кинь взгляд – снега! Лишь изредка голые лесочки, овраги с непролазными торосами сугробов и тихий пронизывающий боковой ветер. Онучи на ногах сползли, оголяя икры, онемевшие от стужи засыпаемого то и дело снега; я поправлял их, подтягивал ближе к коленям. Мешали полупустой вещмешок и ружьё. Ориентируясь по линии электропередачи, минуя болотца с густым кустарником, я наконец-то добрался до большака, ведущего к станции. Подложив под себя вещмешок, снял лапти, надел ботинки и призадумался, не взять ли

лапоточки с собой в Москву, на память о Выселках. Портянки я выкинул и оборы развязал.

Мороз лез под воротник и за пазуху, жёг уши, клещами выворачивал кожу щёк. Я натянул шапку поглубже, как вдруг за изгибом большака увидел трактор-лесовоз с длинными провисшими досками. Трактор, наверно, делал какой-то ремонт и поэтому едва тронулся.

Добежав до него, я запрыгнул и уселся между тесин в крошке древесной и снежной пыли, в чудесном духе лесной стружки сосновой и свежо и ново разделанных на доски и брусья – сосен. Я угрелся и едва не задремал...

...У последней черты люди, вероятно, терпеливее, обыденнее, честнее. Они не изливают никому своего горя, и всё-таки меня коснулось что-то высокое, против чего не поспоришь. До изумления ясный появился взгляд вперёд и на всё окружающее. И этот открывшийся мне грустный людской конец во всей его подлинности теперь не ужасал, но делал трезвей и серьёзней. Я уже не замечал вёрст. Серьёзная и горькая, какая-то очень трезвая задумчивость овладела мной. И благодарность за то, что есть исход из безнадёжности этой жизни, и за высокий её трагизм для каждого и для меня в том числе и, верно, смерть – это и есть рождение души, а не конец вовсе. И было странно, что утверждение смерти напоминало так о жизни.

Трактор дёрнул и встал.

– Эй, парень, – услышал я, – ты чего там?

Я с отчаянием обречённого встал во весь рост.

– Ну залез-то, ты чего хочешь, чтобы меня за Можай загнали? Так, что ли? Ведь придавит. Или, хуже того, разобьёт трелёвкой. Мокрого места не останется.

– Что же делать, брат, надо мне. К поезду. Опоздаю я.

– Ну так давай ко мне в кабину, места хватит, – он дошагал до меня, взял вещмешок. Я стянул за собой ружьё зачехлённое, показавшееся вдруг страшно тяжёлым.

– Что, набил русаков? Что-то не видно. У меня шурин гоняет их каждый день. Уже и выпивки к зайцам нет, а он всё таскает.

Трактор дёргал и притормаживал. То вдруг тащил ещё резвее. Лес стал ближе и чётче. Уходило, ушло солнце, нависло жёлтым пятном. Большаком трактор шёл легко, свободно. Шли пешь люди, мы обгоняли их, и ехали иномарки, проходили одна за другой, с наглым каким-то иноземным вызовом-гудком, как последнее предупреждение нам, грешным. Я попросил остановить

у разъезда поездов. «Берестянки» – висела написанная красной краской табличка, прибитая к трём берёзам, растущим из одного ствола. До поезда оставалось полчаса. Сидя в тёплой гремучей кабине, я оглох, уходил от ответов шоферу, сторонился разговора. Я опасался разрушить эту внезапную и такую чудотворную благодать, овладевшую душой.

– А билет? – спросил мой спаситель-тракторист.

– Нет у меня билета. За деньги, в первый вагон, к почтовикам попробую.

Поезд скорый «Ташкент – Москва» появился вдруг стремительно, как пущенная стрела.

– Эй, да у тебя никак жар, парень? – внимательно глядя на меня, подметил тракторист.

Он помог мне забраться в тамбур к московским почтовикам. Поезд стоял минуту. Обмен состоялся косо, без открываний двустворчатых дверей с их тяжёлым, крест-накрест, крутящимся завалом, без счета и обмена почтой с тележки: нечего и некому посылать отсюда и принимать сюда – уже некому.

И вот газанул соляркой трактор, и я уже не видел его, мог едва-едва представить его дальнейшее движение за синей дымкой сгоревшей солярки. Обменщик, спрыгнув с фартука, взмахнул рукой. Старый пятистенок вокзала-избы Берестянок тронулся назад, и медленно пошла назад скошенная пристанционная хибарка с косым повыбранным боком у завалинки. Поезд подхватил и понёс нас, набирая скорость и мягко потряхивая.

Мне постелили в купе проводника, я с благодарностью отказался от чая и обрадовался лишнему комплекту белья. И всё смотрел на набегающие и выстилающие мой путь к Москве редкие колки берёз и эту снежную выбель полей с косыми, едва-едва не падающими чёрными древесными столбами, с электрическими провисшими проводами, на низкие опоры с ящиками ржавых трансформаторов убогих электролиний.

Всё поднимались и опускались эти провода под скрип забирающего вправо вагона. Бесперывно кружились в хороводе поля, и я всё думал о последних жителях деревни. Этих великих и неприметных стариках простой русской деревни.